

ВЛАДИМИР СИТНИКОВ



УРОЧИЩЕ

РАССКАЗ*

Зима прошла в любовании и умилении.

Я и не предполагал, что у нас с тобой, Майечка, всё так складно получится весной. Весна эта стала не только порой любви под соловьиные трели в черёмуховом аромате, но и такой согласной работы, которая вызывает сплошные восторги. Ты, Майечка, оказалась старательным, кропотливым и неустанным домашним агрономом. Мой бобьельский огород, заросший дурнотравьем и лебедой, запущенный без маманиных рук, вдруг похорошел и заулыбался.

Под твоим началом всё получалось легко, весело, как говорится, играючи. Я с удовольствием перекапывал грядки, пушил их граблями и формировал так, как просила сделать ты. Убирал и корчевал старые кусты, сажал свеженькие, которые кто-то тебе дарил в знак особого расположения.

Товаровед, зампреда райпотребсоюза — фигура видная. Хотят фигуре понравится и завмаги, и продавцы, и шофёры, тащат всякую “невидаль” вроде рассады, саженцев, редкостные первые плоды вроде редиса и укропа. Да и сама ты на нашем пристанционном базарчике и в Кирове приглядывала всякое саженье-коренье, удобрения.

СИТНИКОВ Владимир Арсентьевич родился в 1930 году в деревне Мало-Кабаново Куменского района Кировской области. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. Автор 30 книг, среди которых романы “Свадебный круг”, “Эх, кабы на цветы да не морозы”, повести “Русская печь”, “Белогривская метелица и др. Лауреат Всероссийской премии им. Н. М. Карамзина “За отечествоведение”. Член Союза писателей России. Живёт в г. Кирове.

* Из книги повествований в рассказах “Влюблённый матрос”.

А Женька Золотуха принёс как-то тебе в подарок замороженного белого котёнка. Отказаться ты не смогла. Такой он был беспомощный, жалкий, тощий и голодный. Видать, надоел он юным Золотухиным, вот и сплавил его нам. Котёнок всё время пищал, пока ты его не накормила подогретым молочком, не укутала в шаль. Откормила, отогрела, и он превратился в весёлого белого пушистого красавца по имени Пушок. Пушок ходил следом за тобой, требовал, чтоб ты его гладила, играла с ним, и ты исполняла все его прихоти. Привязав за нитку клочок бумаги, волочила его по полу, а этот белый зверёныш носился за добычей, терзал бумагу, веселя тебя своей игривостью. И ты, увлечшись, заливалась смехом, мой милый, чудесный ребёнок.

На подоконниках проклюнулись луковички гладиолусов, топорщились в ящиках и баночках из-под сметаны и йогурта какие-то щетинки и листики, которые ты называла гвоздичками, маргаритками, ноготками, астрочками. И всё это было потом не воткнуто куда попало, а любовно высажено в определённом порядке. Мама моя цветы терпела, поскольку считалось, что есть неминуемая такая нужда дарить букеты, но по-настоящему она считала только съедобные, полезные огородные растения, вроде лука, чеснока, морковки, свёклы, репы, редьки и, конечно, незаменимой картошки. Крестьянская боязнь военной голодухи всё ещё таилась в её сознании. С картошкой отослала ты меня в поле, примыкавшее к нашему огороду, а вся мелочь по твоему мановению выстроилась на аккуратненьких грядках.

— Где ты всему этому научилась? — недоумевал я.

— Да ты что, Васенька, я ведь не первый день на белом свете. В Черняховске мы тоже с мамой огород держали. Там культ цветов. Ух, какие у нас немецкие гладиолусы росли!

Мы допоздна с тобой после работы возились на усадьбе, пока я, подкравшись, не брал тебя на руки.

— Да у меня ведь лапы грязнущие, — отбивалась ты.

— Не грязнущие, а золотые, и не лапы, а рученьки, — бормотал я, неся тебя в дом, и целовал запястья, ямочки на сгибах рук, всё, всё. — Ах, какая ты у меня вкусная! Ты — восьмое чудо света!

— Разве такое есть? — лукаво глядя, шептала ты.

— Ты, ты — моё чудо, — задыхаясь, шептал я. — Майечка, ты без маечки ещё прелестней. Чудо моё!

А в ненастье, когда на огород не выскочишь, я хватал гитару. Начинали струны выговаривать:

*В городском саду играет духовой оркестр.
На скамейке, где сидишь ты,
нет свободных мест...*

*Почему ты мне не встретишься, юная, нежная,
В те года мои далёкие, в те года вешние?..*

Всё это про тебя, конечно.

*Услышь меня, далёкая,
Услышь меня, красивая, —*

тоже о тебе. Ну и:

*...Всё, что я ни сделаю,
Светлым именем твоим я назову, —*

тоже в честь тебя. Какую песню я ни начну, всё о тебе, всё о том, что без тебя мне не прожить и ты — радость моя и счастье.

А ты только заливалась смехом.

— Ой, Васенька, что ты в голову себе вбил. Для всех эти песни.

— Нет, для тебя и о тебе, — настаивал я.

— Ну, и о тебе, — уступала ты место в песнях мне. — Как я без тебя-то одна в песне останусь?

Песни договаривали то, что я о тебе и о нас не успел ещё сказать.

А несогласие твоё можно было примирить только долгим, насколько дышанья хватит, поцелуем.

Однажды, прижавшись ко мне, ты сказала:

— Васенька, я так хочу, чтобы у нас был ребёночек.

— И я хочу.

— Но я хочу, чтоб он был здоровенький, а не дитя весёлого ужина, как немцы говорят. Не дебил, упаси Господи, это от нас зависит.

В глазах у тебя возникли страх и страдание.

— Я понял. Не буду пить, — быстро согласился я.

— Да, еслилюбишь меня и будущего нашего ребёнка, не пей никогда.

Ты так серьёзно об этом говорила, что я тоже поверил в твой страх и твои опасения.

Выходит, у меня раньше не душа, не тяготение друг к другу, а водка была стимулом сближения.

Да, я забыл упомянуть, что мы с тобой на твой девичий капитал завели подержанный “Жигуль” — девятку. Это ты настояла. Да и деньги вложила ты. Я-то ещё был гол как сокол. Зато как славно мы ездили теперь на твои сбереженья не только на работу и с работы, но и в лес, и в луга, и на реку Молому купаться и рыбу удить. Я взгляд не мог отвести от тебя, когда ты в жёлтом купальничке под цвет твоих золотых волос шла к воде, входила в реку. Фрина, рождённая из пены морской.

А дома огород улыбался, но ты поутру и вечером, озабоченно всматриваясь в грядки, замечала уйму недоделок.

— А если, Васенька, нам поставить плетень вот там, где ты развёл крапиву, и сделать беседку? Будет уютный райский уголок, — говорила ты. И я, подцепив к “Жигулям” тележку, ехал на берег речки Кипучи за ивняком, вострил колья и заплетал такую огорожу, которая нравилась тебе. Ты отыскала где-то деревенские глиняные кринки, тележное колесо и всё это водрузила на колья. Получилась деревенская идиллия с пнями вместо стульев, а столом служил самый возрастной спил с толстеного тополя, который загромаждал подступы к дому соседки Вассы Митрофановны. Она его с радостью отдала нам. Это чудище я прикатил с Серёгой Цылёвым к нам в огород.

Люди, проходя мимо нашей усадьбы, останавливались, любуясь, старушки судачили. Злые неприязненно говорили: “Декуются от нечего делать”, — добрые хвалили, а молодёжи нравилось и нам с тобой тоже.

— Пава, — называла тебя соседка Васса Митрофановна, и добавляла: — По павушке и славушка.

— Хочешь, я куплю сайдинг, и мы обошьём с тобой дом гладкими жёлтыми планками, — предлагал я.

Ты задумывалась.

— По-моему, Васенька, будет красивее, если ты стены бревенчатые покрасишь охрой с желтинкой, а на окна мы повесим белоснежные резные наличники.

Конечно, ты была права: лучше охра с желтинкой и окна в наличниках. Ты нашла резчика по дереву, у которого было в запасе много нарядных кружев. И дом наш превратился в терем. Белое с желтовато-коричневым смотрелось нарядно. Да и по карнизу крыши прибил я “кружево”. А если в резном оконце возникла такая ненагляда, как ты, с белым Пушком на руках, красками живописать хотелось. Жаль, такого дара Бог мне не дал.

Теперь уж все прохожие оборачивались на наш дом и огород и дивились, даже фотографировали.

— Видать, Вася Душкин не на шутку взялся за ум.

Брату своему Вове Иванову ты так восторженно описала наш дом и огород, что он захотел после рейса навестить свою малую родину. И на нашей машинке мы встречали его. Выскочил он из вагона с двумя чемоданами под крокодиловую кожу, усатый, бородатый, с шикарными бакенбардами, брови — как стриженные крылья — врзлёт, этакий живчик в фуражке-капитанке — и заорал:

— Боцман Иванков прибыл, — и, раскрыв объятия, пошёл на тебя.

— Ну, что ты, Вова, неистовый какой, — выбираясь из его объятий, протонала ты. — Все кости переломал ведь.

А он заржал по-жеребьячи, показывая весёлые золотые зубы, и пошёл на меня. Меня, конечно, он так тискать не стал. Зато выдал сразу два афоризма:

— Земляков надо знать в лицо. Вася, значит? Главное, Вася, наполнить себя мечтой и неуклонно идти к её выполнению. Ты как родственник мне поможешь.

А какая мечта была у Вовы, выяснилось, когда углядел он через штакетины забора соседку Вассу Митрофановну.

— Я чувствую, что вы — моя землячка. Я — Владимир, попросту Вова.

— Васса Митрофановна, — церемонно подавая руку поверх забора, сказала Митрофановна.

— Ну, Васса, станцую асса, — мгновенно пошёл на сближение Вова. — Так, значит, Вам известно, где моя родимая деревня Иванково?

— Да я там зоотехником работала, — откликнулась Митрофановна. Начал Вова этот разговор, так сказать, “от фонаря”, а попал в точку.

Соседку Вассу Митрофановну моя маманя уважала, но дружбы избегала, потому что была Митрофановна слишком говорлива. За сутки не переслушаешь. Ну, и в пору своей работы зоотехником проявляла строгость и придирчивость. Мной она была недовольна из-за того, что я не так, как ей хотелось, поставил свой забор, а мой тополь не только затенял часть её участка, но и вышивал соки из её земли, предназначенные для её картошки. От этого, по утверждению Митрофановны, картошка у неё стала мелка и уродлива.

Тополь-то не я сажал. Ему за сто лет, так что я тут ни при чём, а Митрофановна считала, что есть тут моя вина.

— Значит, замётано, повезёте нас в Иванково, — постановил Вова.

— Да уж не знаю, как здоровье, Вовушка, будет. Я ведь старинная. Сталинское время помню. Раз в Курью к нам сапоги забросили. Васина мать Дуся Душкина кушила себе. Приходит в них на ферму. Дояркой тогда работала. Притопывает сапожками и поёт: “Спасибо Сталину-грузину за то, что нас обул в резину”. Мы обомлели. Разве можно эдакое петь про самого Сталина? Посадят, как пить дать. Но, слава Богу, обошлось.

— Значит, проводишь, Васса, до Иванкова, — настаивал Вова.

— До пятнадцатого не могу. Пятнадцатого пенсию принесут. Праздничный у меня день. Получаю денежки и говорю: “Здравствуй, махонькая моя крохотулька”. Из-за внуков не выработала стажу. Вот и обидели: крохотульку дали.

— А мы не обидим, правда, Вась? — подключал меня в союзники Вова.

— Её обидишь, — откликнулся я, но потише, чтоб не слышала Васса. Завонные, золотой пробы получились отпускные Вовины денёчки, скрашенные его запасами виски, которые не поленился он везти из Калининграда, хотя и в Белой Курье теперь достаточно этого добра.

Вова сам себе нравился умением сходу знакомиться с людьми и ввернуть комплимент особам женского пола.

Был у нас с тобой, Майечка, вечерок в честь встречи гостя и негласная наша свадьба. Через пять минут Серёга Цылёв и его Тома Томилина, пришедшие на торжество в честь такого гостя, стали его закадычными друзьями.

— Золотое перо России, — с ходу назвал Тому Вова, узнав, что она журналистка из районки.

— Откуда вы узнали? Только не России, а Кировской области. Над моими очерками героини плакали, — сразу всё и выложила о себе Тома.

— Я телепат и прорицатель, — запросто приписал себя Вова к магнетическому племени.

— Вы будете положительным персонажем моей будущей книги, — пообещала растроганная Тома. Она, видимо, ещё не знала, что путь писателя устлан ненаписанными романами. И неизвестно было ей, что писать повестки иногда куда продуктивней, чем повести. Это я знал по книге Яна Парандовского “Алхимия слова”. Но разве скажешь об этом обидчивой и тщеслав-

ной Томе. Пусть тешит себя надеждой стать писательницей. Теперь ведь племя женщин-романтисток ежегодно множится и стало уже несчётным. Я смягчил свои рассуждения о Томином писательстве.

— Пушкин говорил, что у него 36 источников дохода — по количеству букв в тогдашнем алфавите, так что у тебя, Тома, доход будет не намного меньше, чем у классика, — ввернул я. — Ждём роман. Главное, чтоб писучесть не исчезла.

— Ну, и змей же ты подколодный, — возмутилась Тома, которая не могла никак привыкнуть к моим добавлениям и поправкам.

— Кончайте бои местного значения, — остудил нашу перепалку Серёга. — Вон Вова сказать рвётся.

— Выпьём за то, чтобы вам, Майечка и Вася, состариться на одной подушке.

Сначала мы опешили, а потом поняли: здорово это. Ну, как за такое пожелание не выпить?! А я, дав тебе слово, вертел в пальцах рюмку и подливал воду из соседнего стакана, чтоб не разоблачили.

Ох, и мука предстояла мне. Придётся теперь постоянно мухлевать, подливать воду вместо водки, сок вместо вина, и принимать бесчисленные упреки. И придётся отказаться от вино-водочного фольклора. Выдержу ли?

Добрались до третьего тоста.

— Не так опасен чёрт, как чертовски красивая женщина, — объявил Вова. — А поскольку собрались сегодня красивейшие женщины планеты, за них! Мужчины пьют стоя, а женщины — до дна, — воскликнул он, вскакивая. Поднялись и мы с Серёгой, у которого уже давно вертелось на языке заготовленное впрок, извлечённое Бог знает из каких сборников стихотворение.

— Алаверды, алаверды, — поднимая по-школьному руку, закричал он:

*Ногами стройными пружиня,
Со всей Вселенною на ты,
Идёт по улице богиня,
Как символ женской красоты.
Несёт уверенно и смело,
Неторопливо, не спеша,
Обворожительное тело
Её безгрешная душа.
Кому-то выпала награда,
И стынет сердце у мужчин.
С большим трудом отводят взгляды
От нежных взгорков и лоцин.*

Я понял так, что выпала награда мне, потому что ты досталась мне, Майечка. А Серёга, наверное, считал богиней Тому. Но это их дело. Я-то знал, что ты самая, самая-пресамая моя раскрасавица и богинюшка.

По программе пребывания высокого гостя, которую мы с тобой разработали, я свозил Вову порыбачить на реку Молому, где он пристал к мужикам, ловившим рыбу бреднем, и так их накачал, что они забыли про свой бредень, а уху пришлось варить мне. Мы так и оставили неводчиков спящими, приколов записку к рюкзаку: “Спасибо за улов”.

Признаюсь тебе, дорогая, что ведро черники и корзинку земляники мы сами не собирали, а купили вместе с тарой у старушек в попутной деревне, потому что боцман испугался в черничнике комаров, которые кочевой ордой налетели на нас. А тут всё получилось спокойно и красиво. Даже ведро и корзинка вместе с ягодой.

Ты нас похвалила за усердие, а мы, потупив очи долу, принимали твои похвалы и рассказывали, как тяжело нагибаться за каждой ягодкой.

Вова прибыл оснащённым до зубов фото- и кинотехникой. Была у него кинокамера, какой-то редкостный фотоаппарат с выдвигным объективом, сверхчуткий сотовый телефон, которым можно фиксировать каждый шаг. Мы с тобой, Майечка, были запечатлены во саду и во лесу. Вове не терпелось сфотографироваться в Иванкове.

И вот, видимо, получив свою “махонькую крохотульку”, объявилась Васса Митрофановна в сапогах и косынке, с корзиной, с косою-горбушей. Видимо, всё это надо было для поездки в Иванково.

— Вась, литовку возьми, а то теперь туда не продерёшься, — распорядилась она. — Ну, и ведёрко, корзину. Говорят, грибы пошли. Хоть грибовницей гостя накормим.

Пришлось все указания Митрофановны исполнить.

Уместившись в машине, начала Митрофановна с ходу свою исповедь.

— Я ведь девка военная. Ой, вспомнишь — не верится. Будто не со мной это было. Домотканину носили. Сарафан портяной, оболочка-спанча — тоже.

В густой сини голубичных глаз Митрофановны мелькнула искорка-слеза:

— Два годика всего мне было. Голодно. Побрела на ферму к матери и чуть не замёрзла. Мать рассказывала: вроде кошка мяучит. Открыла дверь, а это ты. И руки уже побелели. Печники навели глинистый раствор, дак туда руки-то сунули. Отогрели... Когда от отца похоронка пришла, дак мать убивалась. Чтoб не слышно было стонов, голову в бочку с водой сунет. Дояркам ведь на ферму и воду в бочках возить приходилось.

Васса Митрофановна утверждала, что всё про всё знает.

— Вон там была твоя деревня, — тыча пальцем в небо, кричала она Вова. — Теперь чащоба непролазная. Ветробоем падалища уронена.

Но когда подъезжали по высоченной траве к заросшей еловой гриве, Васса Митрофановна начала сомневаться, туда ли мы заехали.

— Помню пальник. Малины там много было. А теперь я инвалид по зрению, туск на глазах, поди, не туда попали?

Пришлось оставить машину на высоком видном месте и идти пешком через великанскую крапиву, дикий малинник и репей. Джунгли, да и только.

— Был ложбень, а в нём два пруда, друг за другом уступом шли. В одном скот поили, в другом люди купались. Рыба водилась, — вспоминала Митрофановна.

Как пройти через затянутую малинником и крапивой непролазь к ложбеню с прудами, угадать, где была деревня, Митрофановна не знала. Растерялась.

— Погодите, погодите, там ведь проезд был, — вспомнила она. — Вова, сбегай-ка туда, взгляни, не видно ли прудочков-то?

Вова по-медвежьки полез в дурнотравье и вскоре заорал:

— Вода!

Оказалось, там уже не два, а четыре пруда, причём не рукотворных, а сделанных бобрами. Высоченные берёзы уронили эти трудолюбивые зверёньши, перегрызли стволы своими могучими зубами. Торчали из земли заточенные, как карандаши, столбы. По бобровым плотинам мимо хаток перебрались мы в настоящий райский уголок. Я подумал: определённо таким бобровым обитающим было Иванково, когда прорубались сюда сквозь тайгу первые его поселенцы. Всё вернулось на круги своя, когда уехали отсюда хлебопашцы.

— Вот и Иванково, — облегчённо сказала Васса Митрофановна и отёрла жаром полыхающее лицо косынкой. — Думала — не найду. Стыдобушка бы случилась.

Вова выскочил на середину прогалины и заорал, напугав нас:

— Здравствуй, родина! Это я — твой блудный сын — Владимир Иванов. Узнаёшь меня? — и бухнулся сначала на колени, а потом лёг, распластавшись в траве, обнимая своими мощными лапами землю.

То ли спектакль устроил он, то ли от души признавался в любви к деревне, но я видел слёзы у него на глазах.

Долго искала Васса Митрофановна место, где стоял ваш дом.

— Хоть бы кирпичик найти, — вздохнул Вова.

— Нет, кирпичей не должно быть. Печи были глинобитные, не кирпичные, — поправила его Васса.

Мне удалось найти старый лемех.

— Гляди-ка, сохранился, — удивилась наша провожатая. — Как раз около вашего дома он и висел на берёзе. Отец-то твой, Савелий Никифорович, Вова, бригадирил. Вот и созывал народ на работу.

Мы с удивлением рассматривали изъеденную ржавчиной железяку. Вова сказал, что снова повесит её на берёзу. И принялся искать проволоку или провод.

— Это будет рында, как корабельный колокол, — сказал он.

Хорошо, что по настоянию Вассы Митрофановны захватил я косу-литовку. Она с горбушей, а я с литовкой сделали прокос по направлению к машине, минуя пруды и бобровые плотины. Когда уже заканчивали прокос, раздался призывный звон. Всё-таки боцман Иванков сумел повесить лемех или, по его выражению, рынду. И теперь звала она нас к месту, где стоял ваш дом.

— Вот здесь поставим памятник нашей деревне Иванково, — сказал решительно Вова.

Когда на покосиве расстелили скатерть-клеёнку и принялись за трапезу, Вова первую чарку налил Вассе Митрофановне.

— Ой, ой, что ты, боговой, — взмолилась та.

— Пей, не церемонься, — приказал он. — За мою деревню.

— Дак осудят. Скажут, старуха, а эдак лопают.

— За корни, за корни наши надо, — сказал я. Хорошо, что у меня была спасительная отговорка: я за рулём.

Вова принял чарку и выпил стоя.

— За моё Иванково!

— Ой, ой, — опять завела скорбные воспоминания Васса Митрофановна о том, как выталкивали доярки своих дочек в лёгкую городскую жизнь. — Няньками за кусок хлеба работали, лишь бы прописку там получить да паспорт охлопотать и не повторить судьбу своих горемычных матерей.

Я ел бутерброды, приготовленные твоими ручками, Майечка, слушал Митрофановну (сколько воспоминаний о каждой деревне хранится в головах стариков!), вертелся, озирая окружину. Вдруг приметил в ельнике-березнике таких красавцев в коричневых шляпах, что вроде Вовы истошно заорал:

— Белые!

Кинулся к белым.

— А красных-то сколько, — удивлённо захлопала руками по бокам Васса Митрофановна.

И тех, и других грибов, оказалось, в Иванкове косой коси — полки. Началась бескровная резня. Несли грибы в корзине и ссыпали в багажник.

Много мы нарезали и белых, и красных в заброшенном твоём Иванкове. Помнишь, Майечка, как ты растрогалась и сказала, что это родина шлёт вам с Вовой привет.

Обратно ехали с песнями. У Митрофановны частушек оказался целый припол. Рассказывала, как озоровали, как устраивали перепевки, когда самая памятливая одерживала верх. И такой прижёршей чаще всего оказывалась моя мать, но это уже было в Белой Курье.

На следующий день поехали мы с Вовой в ритуальный магазин, где каких только крестов и памятников не было. Нам понравилась валявшаяся на улице в сторонке гранитная глыба, которую, видимо, ритуальщики не знали, к чему приспособить.

— Вот это памятник, — сказал Вова и поставил ногу в модном заграничном ботинке на глыбу.

Как мы везли эту глыбу в Иванково, ты прекрасно помнишь, потому что ездила с нами и собирала грибы в своей родной деревне. И лемех при тебе звенел на берёзе.

Ещё ты предложила нам расчистить родничок, установить трубу, по которой бы лилась на полевые камни вода, издавая бодрящий ручейный звук пробудившейся весёлой жизни.

Камней-голышей полевых мы набрали, а вот установку трубы и надписи на глыбе перенесли на следующую поездку. Надпись со снимком деревенского дома ритуальщики изготавливали в Кирове, и её пришлось прикрепить к камню позднее.

Теперь Вова, да и ты, жили воспоминаниями о своём Иванкове, хотя по сути ничего помнить не могли, потому что тебе было два года, а Вове —

всего год, когда увезли вас мать с отцом в Калининградскую область, где поселились у завербовавшихся туда родственников.

Ты рассказывала о самом вкусном иванковском молоке, о сметане с пенками в точечках топлёного масла, которые ела в Иванкове. А ещё о том, как любила олады с этой самой сметаной. А ещё помнила, как топилась русская печь и какое пламя бушевало в ней, вызывая этакое языческое почтение к огню.

Вова же, видимо, приплетал воспоминания калининградские, когда жили вы на хуторе близ Черняховска. Он якобы ездил с отцом верхом на лошади. Ты сомневалась, что это было в Иванкове, а он настаивал, что было так и никак иначе:

— Конечно, я ещё был мелким шпротом, но за гриву конскую держался и гордость испытывал оттого, что еду с отцом на лошади, — утверждал Вова.

— Это называется генетическая память, — блеснул я эрудицией. — С тобой такого быть тогда не могло, а было с твоими родителями.

— Нет, со мной, — стоял на своём не привыкший соглашаться Вова Иванов.

В тот день мы взяли в ритуальной мастерской табличку, на которой значилось время существования вашего Иванкова: 1670—1990.

Нашёл я на одной карте, как называются брошенные деревни. Оказывается, урочищами. Так вот, ваше Иванково — урочище. Было селение, а теперь лесная чащоба или пустошь, затянута травяной дурниной.

Подумал я, что теперь по России урочищ больше, чем деревень. Считается, что в 1925-м, самом благоприятном для крестьян году, было на территории Вятской губернии 35 тысяч деревень. Тогда ведь шло бурное становление отрубов, починков, малодворок, а сейчас на счету три тысячи деревень с небольшим. Количество урочищ счёту не поддаётся. И оно пополняется. Многие из оставшихся деревень пустеют, напоминая стариковский рот, где каждый третий, а то и второй зуб выпал. А сколько переходит в разряд урочищ...

Зато города теснятся, разрастаясь донельзя. Дома лезут друг на друга, утром на улице не протиснешься. Пробки, пробки, заторы.

Слово “урочище” какое-то для меня неприятное, говорящее об уродливости, выморочности сельской жизни, умирании. Но и городское слово “урбанизация”, говорящее о превосходстве города, задавившего деревню, мне не нравится. Такой вот я привередливый.

В общем, Майечка, ваше исчезнувшее Иванково вызвало у меня горькие чувства и мысли о бренности существования, а наша попытка оживить урочище была попросту вызвана жалостью к бедному Иванкову, давшему таких хороших человек, как ты с Вовой. А сколько их ещё было, трудолюбивых работяг, рукодельников-выдумщиков, гармонистов одарённых? Скоро об этом никто и знать-то не будет. И это горько.

— Вы там уютее, я баньку истоплю, — обещала ты нам, провожая нас в Иванково. И мы собрались всё сделать быстро, но хорошо. Прикрепили на болтах табличку, а потом оборудовали родничок. Конечно, не как в Петродворце, но вода по трубе потекла прозрачная, студёная, и шум от её падения был ручейный. Ударили в лемех. До встречи, Иванково! Теперь мы знаем, куда ездить за грибами и где поклониться предкам.

Не стану описывать, что и как там было. Мы спешили в Белую Курью, чтоб попасть к хорошему банному пару. Когда въезжали на Колхозную улицу, навстречу нам проскочила багряная пожарная машина. Вызывая смутную тревогу, донёсся запах дыма. И вдруг открылось такое зрелище, что до сих пор не верится в его реальность. Вместо нашего кружевного дома торчали чёрные обугленные стены, которые ещё продолжали чадить. Печь высилась уродливым памятником. Ко мне в ноги бросился наш кот Пушок, опалённый и жалкий. Он мяукал, жалуясь мне. Обжёг свои лапки, выбираясь из огня. Вторая пожарная машина делала проливку соседнего дома. Дымился забор.

В сторонке на груди выглядевшего ненужным скарба сидела ты, отчаявшаяся, чумазая, заплаканная, убитая горем. Ты подняла на меня виноватые, страдающие красные глаза:

— Это я, Вася, во всём виновата, — зарыдала ты и бросилась ко мне. — Я перетопила баню. А такая жара и ветер в сторону дома. Мгновенно, за пятнадцать минут сгорело всё, — и задохнулась в рыданиях. С тобой случилась истерика. Пришлось тебя отпаивать валерьянкой.

Что ругать тебя, сердце в ругани срывать? Плакать? Ещё одного несчастья мне не надо. Лишиться тебя из-за дома? Ни за что!

— Это я виноват, а не ты. Труба асбестовая лопнула. Должен был я её сменить да вот поленился, — обнимая тебя, жалкую, беззащитную и виноватую, прервал я твои рыдания.

Вова ходил вокруг дома и матерился.

Рассказывают, что злока Жасминовна в этот день закатилась в гастром возбуждённая и даже повеселевшая:

— Сгорел Душкин. Так и надо! Бог знает, кого и как наказать. Майка теперь осталась в одной майке.

Однако, подчёркивая своё благородство, собрала среди продавцов деньги и отнесла председателю райпотребсоюза:

— Вот наша помощь погорельцам.

Явь была — как дурной сон, даже страшнее самого жуткого сна. Дома нет. И я оказался без корней. Унёс огонь в воздух и превратил в пепел всё, что напоминало о прошлом: чарушу, ткацкий стан, кадки, скамейки.

В них, в этих ненужных вроде бы вещах было отражение давней жизни, чувств, поэтому я и не выбрасывал их. Не осталось ни одной маманиной фотографии. Мне особенно нравилась одна. На ней мама ещё молодая, весёлая, ядрёная, уверенная в себе. Это ещё до моего рождения. И меня ни маленького, двухлетнего, ни пионера, ни студента нет. И милая моя библиотека вылетела с дымом под облака. Придётся опять ходить к Серёгину с сундуком с книгами, которые собирал его дед.